

Юрий ОНОПРИЕНКО

«НОЧНОЙ РАЗБОЙНИК, ДУЭЛИСТ...»

(Продолжение. Начало в №108).

ГЛАВА ШЕСТАЯ СВАТ ПУШКИНА

Француза прогнали, и Толстой вновь стал развлекать себя, как мог. Жизнь свята ведь очень скучна, если на всех этих балах и приёмах только чопорно раскланиваться. Так и тянет почудить, хоть трепак врезать при всех.

Однако с орденом и в звании полковника это уже как-то и самому неинтересно. Толстой подумал-подумал, да и подал в отставку, чтоб опять невзначай под разжалование не угодить.

Уехал в Москву, поселился в тенистом Староконюшенном переулке и в Петербурге показывался не так часто.

Сюртук и фрак красили его получше мундира; вольности его теперь виделись почти нормой. Да и что такое ночные пирушки и кутежи, представьте без них русского дворянина до сорока — не представляете; да если ещё у него нет никаких занятий, а интересы обширны.

Впрочем, вся эта топорщащаяся копна интересов легко уминается за карточным столом.

— Зачем ты всё время передёргиваешь, Фёдор Иванович? — спрашивали удивлённые приятели, видя, что ручищи Толстого так и снуют, так и пляшут с картами, словно то и не холодные карточки тиснёные, а горячие угли из костра. — Ты ж всё равно выигранное тут же шутя нам на шампанское спускаешь.

— Потому и спускаю, что не в рублях моя страсть.

— А в чём?

— В желании схватить удачу — и в страхе её потерять. Играю и слушаю, как кровь по жилам бежит да замирает — что у меня, что у супротивника. Вот и всё.

— Ты какой-то поединщик.

— Точно, я поединщик с судьбой. Мне без того тоска... Однако, где наша пробка?

Он учинил шутиливый Орден Пробки; и торжественно, передразнивая любящих цветастые ритуалы иезуитов, принимал в этот орден всех, кто одобрял питье, пусть даже и сам не пил.

Бывало, конечно, что после таких торжеств Толстой нечаянно упивал кого-то да укладывал с подговорённой дворней; утром блистательный старик пробуждался возле заголённой девки, а вокруг в восторге прыгали орденаторы и подносили ему пунш.

Сам женские ложа менял всё реже; повадился к одной — Авдотье Тугаевой, крещёной цыганке-певице, живущей отдельно от своих и принимавшей разве что одного Толстого.

Он являлся к ней под утро, со сверкущими подарками и хрусткими деньгами: — Околдовала, Дуняша!

Она молча смотрела на гривастый профиль гуляки, вздыхала, говорила: — Тебя не околдуешь, ты сам колдун.

В минуты отдыха Дуня ерошила тонкими пальцами его путаные и жёсткие, как августовская трава, волосы и задумчиво спрашивала:



Многое хотелось бы рассказать об этом необыкновенном, преступном и привлекательном человеке.

Л. Н. Толстой

— Почему не женишься ни на ком, Фёдор Иванович? Не век же тебе по цыганкам блудить.

Толстой устремлял в пустоту потолка потухший глаз, тише обычного отвечал:

— Как бы жена меня ни любила, а всё равно когда-то увьётся за свеженьким кобельком из театров. И ещё так обставит, что я же виновен буду: не смею, скажет, ревновать к искусствам. И что мне, стегать того кнутом?

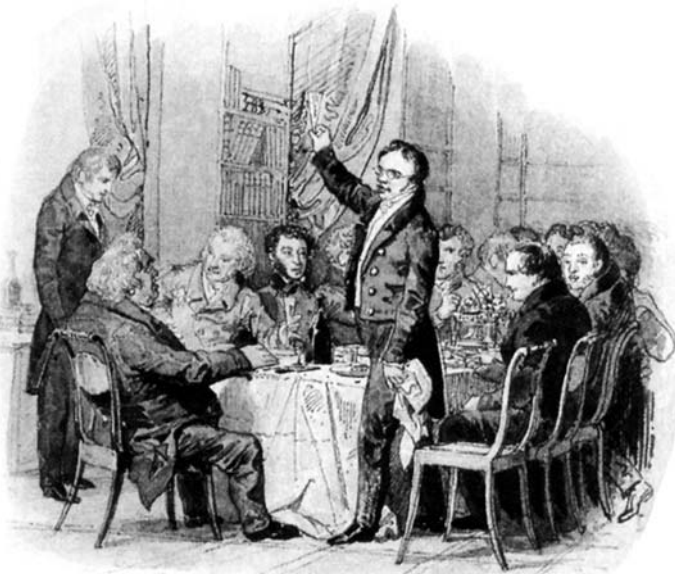
И глазками вверх-вниз: собственное сожаление изображает.

— Продолжаем! — ревел Толстой, веря, что отделает этого клопа, что отыграется разом, как свершал это на войне одним взмахом сабли.

Продолжил, поставил на всё — и прогорел.

Это было невиданно: Толстой лишился состояния. Спокойно встал — в минуты военных схваток, роковых дуэлей, в минуту той давней высадки на необитаемый берег он становился необычайно спокоен.

— Долг будет завтра, — и вышел.



— Отчего так мыслишь? — хмурилась Авдотья.

— Оттого, что женская плоть на пустое слово падка; чем цветистей оно да лживей, тем верней от него дамы млеют. Ты не такая, Дуня, тебя слёзной песенкой не взять; потому и мила мне.

Уезжал; кутить, дурить дальше, а порой наведаться и к дамам, о коих столь нелестное мнение имел.

И тут грянуло ему, как быку обухом: проигрался граф.

Напоролся-таки он на шулера крепче себя. Имя тому было Огонь-Догановский, и метал он пульки вдвое быстрее Толстого.

Карты в тот вечер сделались Фёдору невластны; сухим листобоем сыпались они из его рук и липли-ластились к пальцам Догановского; где Толстой волком бежал — там Огонь барсом поверху прыгал, разве достанешь.

На цеплянья шулер не поддавался. — Ну и подлец ты, Огонь, — пробовал идти в грубость Толстой.

— Виноват, если огорчил, — смиренно отвечив Огонь-Догановский. — Ваша бита, виноват.



Он твёрдо знал: завтра не наступит, он застрелится сегодня же. Деньги брать было неоткуда; даже имя его стоило меньше ныне проигранных десятков тысяч.

Лжавшая на комод гора долговых расписок и выигранных векселей спасти бы могла; но Толстой не мог, не желал изменять себе; притом изрядно уж времени

тем распискам — требовать по ним будет странно и подло.

Есть в жизни моменты: друзей много, а идти не к кому. Не просить же займы, в самом деле; дадут, но какой он тогда поединщик с судьбой?

Пистолеты лежали, где всегда, готовые к чёрной своей работе. Фёдор Иванович глянул на них:

— Успею, до утра далеко. Поеду с моей цыганкой попрощаюсь; больше ни с кем не хочу.

Авдотья сразу увидела неладное.

— У тебя, граф, лицо как у каторжного. Что случилось?

— Нет, ничего, это так...

— Как же — так. Ведь не развлекаться приехал?

Она стояла перед ним: прямая, высокая, уверенная, что сейчас он откроется. И он открылся.

— Проститься завернул. Проиграл всё до нитки. Вот пистолет, сейчас у реки пушу себе пулю... Не хотел говорить, да сама спросила.

Цыганка и руками не всплеснула, и щекой не побелела. Даже как будто что-то весёлое и любопытное во взоре мелькнуло. Словно новость о бродячем цирке услышала.

— Много денег-то профыркал, граф? Спросила, как уже чужая.

— Много.

— А сколько?

Толстого дёрнула эта бабья настойчивость, но он сказал. Сказал, уже жалея, что пришёл к Авдотье, что в такую-то минуту из неё лезет интерес к цене, а ведь цена эта не на огородную петрушку — на всю жизнь целиком.

— Ну, погоди чуток, не стреляйся пока, — сказала между тем цыганка.

Ушла за радужную штору и тут же вышла, держа пачку радужных денег.

— Бери, Фёдор Иванович, вертай долг кому надо.

Толстой не взял, отступил:

— Чьи это деньги у тебя, Дуня?

— А ты догадайся.

— Если вашим цыганским воровством добытые, так хоть выбрось их, а я не возьму.

— Тьфу, дурь графская! Бери!

Авдотья подошла и насильно сунула деньги в широкие игроцкие его ладони:

— Твои это деньги, все до копейки.

— Как?

— А так, что ты пять лет эти деньги мне в подарки дарил; только я их не тратила, отдельно складывала — знала, что тебе же и надобны станут.

Фёдор сжал её в объятиях, и они минуты две так стояли, молча, неподвижно.

Затем он произнёс с чувством:

— Ты меня спасла. Я хочу взять тебя в жёны.

Она была всё так же сдержанна; коса уложена русской короной, над губой едва заметный светлый пушок, столь пленявший в женщинах всех Толстых.

— Графьям нельзя жениться на цыганках. Вас все фрейлины покинут.

— Молчи, молчи, Дуняша; им ли с тобой сравниться. У них только и расчёт, как бы стать заместительницей пошире; а такое, как ты сейчас, ни одна не сумеет. Будь моей женой, Христом-богом молю.

— Я-то буду, за честь сочту. Но подумай ещё, Фёдор Иванович. Ваш свет суров — так и без него не сдюжишь.

— Сдюжу; мне свет не указ, ты будешь мой свет.

И Толстой женился на Авдотье Тугаевой. Стала она графиня Толстая.

Продолжение следует.